

«...СЛУШАЙТЕ РЕВОЛЮЦИЮ»

Завтра—100 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Блока



В творчестве Блока нашли свое дальнейшее продолжение и развитие лучшие гуманистические традиции русской классики. Путь поэта к Октябрю не был легким. Но это был путь к Революции. К поэме «Двенадцать», запечатлевшей всю мощь революционного воодушевления поэта, к статье «Интеллигенция и революция», где во весь голос прозвучал вдохновенный призыв очевидца и участника великих свершений: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию».

В эти дни внимание многих читателей, знающих и любящих поэта, привлечено к не известным доселе страницам его биографии, к воспоминаниям людей, близко знавших Блока на разных этапах его жизненного и творческого пути.

Мы публикуем отрывки из будущей книги воспоминаний об Александре Блоке известной советской писательницы, критика, члена правления Союза писателей СССР, редколлегий журналов «Знамя» и «Дружба народов» Евгении Федоровны Книпович.

КОГДА сейчас — через шестьдесят лет — я пытаюсь восстановить в памяти пережитое тогда, я особенно остро ощущаю необходимость жесткой дисциплины, точного разграничения двух времен и двух восприятий.

Попытаюсь «нелживо и неспешно» рассказать о Блоке, таком, каким я его знала в 1918—1921 годах.

Понимаю, что по многим приметам и реалиям образа жизни, быта, связей и отношений с людьми Блок пооктябрьских лет не похож на Блока 1901-го или 1908 года.

И — в этом я уверена — все-таки похож в том главном, что определяет его путь, о котором он сказал «вот мой путь между двух революций — прямой»... И спасибо К. Федину, что он в заметках о Блоке дал этому прекрасное подтверждение. Федин вспоминает речь Блока о Пушкине в феврале 1921 года в Доме литераторов

— речь «О назначении поэта».

«Когда в душевной передней толпились около вешалки, тесня со всех сторон Блока, к нему протолкался старый публицист, из тех, что составляли внутренний лик Дома литераторов. С очевидным удовлетворением, но с безразличной миной, он почувствовал Блоку:

— Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!

— Никакого. — ровно и строго отозвался Блок. — Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».

И эта святая верность «главному» отразилась в последние годы жизни Блока — на большом и малом — на восприятии и оценке событий, людей, работе, на отношении к трудностям быта.

Аккуратный до педантизма, рыцарски нежливый, органически неспособный не выполнить даже самого незначительного обещания,

бесконечно внимательный к нуждам близких и очень далеких. Блок в трудные послеоктябрьские годы мог поистине служить образцом подлинной человечности.

Скептически относился он и к предубеждениям против «комиссаров». Так, некий защитник прав личности, мобилизованный на расчистку улиц после зимних заносов, поведал нам о том, что он в знак протеста швырнул лопату грязного снега в проезжавшую мимо комиссарскую пролетку. «А в пролетке сидел Анатолий Федорович Кони», — приподняв брови, спокойно внес поправку Блок. Дело в том, что ученый юрист А. Ф. Кони — знакомый или друг многих больших или даже великих писателей — сразу после Октября включился в культурно-просветительную работу. Он выступал с лекциями и воспоминаниями о Толстом, Достоевском, Тургеневе, А. Ф. Кони был в ту пору человеком старым и к

тому же тяжело больным. Вот почему Петросовет предоставил в его распоряжение пролетку — по тем временам роскошь неслыханная. Реплика Блока не была фактически справедливой, он не знал, кто сидел в пролетке — так же, как и его собеседник. Смысл реплики — в другом. Она отмечала подлинное отношение «комиссаров» к интеллигенции, работающей для народа... После заседания Комиссии по изданию русских классиков (при Наркомпросе) Блок писал: «Это — труд великий и ответственный; господа главные интеллигенты не желают идти в труд... Тут-то и нужна их помощь. Крылья у народа есть, а в умениях и знаниях надо ему помочь. Постепенно это понимается...».

ПОВОДОМ для нашего знакомства стало то, что в декабре 1917 года я послала Блоку по почте стихи, которые я писала, потому что происходившие события заставили меня усомниться в них. Мне нужен был совет скорее не литературного характера. Стихи были «дооктябрьские», и в ответном письме Блок справедливо сказал:

«Оттого ли, что Вы так любите искусство, Вы очень замкнулись — лица не видно, голоса не слышно. По стихам и по письму мне кажется, что Вас не коснулись события...».

Что касается стихов, то тут я в ответном письме не стала спорить, но о «незатро-

нутости» событиями сказала довольно сердито.

В ответ пришел коротенькое письмо: «Простите, если я Вас не понял... Переписываться теперь трудно, если хотите, зайдите просто...».

Так и произошла наша первая встреча и трехчасовой разговор — что самое любопытное — не о стихах, а о революции, жизни, культуре.

«Сейчас ходить нельзя, разве можно ходить, надо прыгать, летать». — «Как летать?!» — «Да так — летать!» — помогает себе жестом и смеется.

Чтобы дать мне понятие о том, как он видит, вернее, ощущает события, он рассказывает об океане: на подступах — ручеек среди папоротников — «и вдруг — зеленые пропасти, хляби, лоханы, крабы, медузы. Что растет, что живет в океане, ведь можно помешаться, если остро воспринять это — что растет, что живет в океане!».

Мы стали встречаться. Но чуть ли не во вторую встречу Блок сказал мне о том, что надо что-то вместе делать — иначе сейчас нельзя.

Все мы тогда, порой довольно наивно, исходя из чисто логических заключений, припоминали и искали в прошлом то, что может прозвучать сейчас, стать полезным в строительстве нового... Я вспоминаю ту проверку «на современность», какую проходили в наших разговорах многие писатели.

Я не помню точно когда, но, очевидно, еще в конце 1918 года Блок сказал мне: «Я хочу вас познакомить со своей мамой, и потому что мама — это я, и потому что она живет в том же доме, и у нее тепло и там мы можем хорошо встретаться и говорить и вдвоем, и втроем».

Так оно и пошло. И вскоре Александра Андреевна попросила, чтобы я не звала ее по имени отчеству, а называла бабушкой...

Она до страсти любила и очень тонко воспринимала музыку. С ней никогда не бывало скучно. И тогда, когда мы были вдвоем, она развешивала передо мной прекрасный свиток семейных преданий и вспоминала о Тургеневе, Достоевском, о жизни в Шахматово, о друзьях сына. С ней мы бывали в ледяных залах консерватории, в концертах — вдвоем. Блок (с ним я часто бывала в театре) утверждал, что ему «медведь на ухо наступил».

Я никогда не могла понять (и сейчас не понимаю) взаимоотношения Блока с музыкой как искусством. Если «медведь на ухо», так откуда же такое глубинное ощущение гениальности Мусоргского, страсть к Вагнеру?

«...Маменька, идите пить чай, мы с Е. Эф. Книпович уже кончили наши дела». Так он нас и звал в веселье, озорные минуты — «Вы, маменька, и Е. Эф. Книпович».

Блок никогда не называл меня по имени не только в глаза, но, по свидетельству Александры Андреевны, и «за глаза».

В конце 1919 года и весь 1920 год Блок часто читал нам и то, что он написал только что, и прежние, и чужие стихи. У меня сохранилась запись о том, как он нам читал главу «Возмездия» об отце. И я хорошо помню этот душный июльский вечер 1920 года и ворчание дальней грозы, и голос Блока, прерывающийся от подступающих слез, и вдруг — дружное пение матросов на реке...

Чувство человеческого достоинства сочеталось в нем с таким отсутствием тщеславия, с такой «жесткостью» самооценки, какую я не встречала ни в ком другом. Известность, в том числе и зарубежная, не интересовала его. Над французским переводом «Двенадцати», который я для него раздобыла мы вместе потешались.

У меня сохранилось семь книг с дарственными надписями Блока — все, что вышло в 1918—1921 годах. Каждая надпись — «в память» о чем-нибудь, о весне 1918 года, о вечере в Тенишевском зале, где он читал «Ямбы», об осени, когда мне минуло 22 года, и так далее.

О последних неделях жизни Блока я написала большое письмо Корнею Ивановичу Чуковскому, который в то время был в деревне.

По словам покойного Э. Г. Казакевича, письмо это было вклеено в «Чукокколу», и он его там читал. Сейчас письмо исчезло бесследно. Ни в «Чукокколе», ни в архиве Чуковского его нет...

Место на кладбище я выбрала сама — на Смоленском возле могилы деда, под старым кленом...

Гроб несли на руках, открытый, цветов было очень много.

Такова была смерть. А затем началась другая жизнь — бессмертие.